

## Г. ЧИЧЕРИН КАК ПУБЛИЦИСТ

Очерки Англии и Франции, *Б. Чичерина*. Москва, 1858

Недавно как-то мы отважились изложить мысль необычайно новую и странную: если человек, до пятидесяти лет бывший низким обманщиком и злодеем, попавшись в неожиданную беду, призывает к себе честных людей и говорит: «спасите меня, я буду вашим верным другом», и если честные люди поверят ему, а потом, вывернувшись из беды при их помощи, он начнет куралесить хуже прежнего, причем даст на орехи и своим избавителям, то они сами виноваты в том, что потерпят от него, — зачем было им верить обещанию низкого обманщика? Проницательные люди немедленно сообразили, что мы восстаем против честности и защищаем обманщиков; сообразив это, проницательные люди все поголовно вознегодовали на нашу безнравственность, низость и обскурантизм; проникшись негодованием, они стали выражать его самым благородным и энергическим образом, и словесно, и в письмах, адресованных на наше имя. Мы увидели необходимость принести публичное раскаяние в нашем преступлении и в следующей книжке журнала написали: «Мы совершенно заблуждались, говоря, что словам обманщиков не следует верить; мы должны были только сказать, что злодеи должны подвергаться уголовным наказаниям, и тот, кто по своему излишнему доверию к их словам остановит совершение правосудия над такими людьми, вредит сам себе и целому обществу». Из этих слов проницательные люди немедленно убедились, что мы действительно раскаиваемся в своей прошлой ошибке и смиряемся перед их удивительною проницательностью. Тогда они с удовольствием стали потирать себе руки, говоря: «Ну вот, мы вывели вас опять на прямую дорогу, с которой вы было сбились». — «Правда, точно так», — отвечали мы. Проницательные люди смягчились и даже простили нам прежнюю нашу ошибку за чистосердечное наше раскаяние.



Но увы! Мудрейший из мудрых погрешает семь раз в день; как же нам, обыкновенным смертным, было спастись от нового падения? В то самое время, как мы искренним покаянием искупали один проступок, мы совершали другой, не менее тяжкий: по неразумному легкомыслию мы проговорились о тех чувствах, какие внушает нам восхитительное зрелище подвигов нашей литературы за прошлый год. Проницательные люди опять-таки не замедлили понять истинный смысл нашего грустного сарказма. Мы говорили, что литература едва-едва, да и то спотыкаясь на каждом шагу, плелась вслед за <вялыми обскурантами, не видевшими>, куда они идут, но желающими по возможности итти назад, и в этом шествии получила несколько изрядных пинков; проницательные люди тотчас сообразили, что мы не желаем добра литературе. Мы говорили, что обсуждение важных вопросов, умалчивающее о существенной стороне их, касающееся только мелочей, да и то с какою-то вялою слабостью, никак не может назваться удовлетворительным обсуждением, ничего не разъясняет, ни к чему, кроме пошлостей и нелепостей, не приводит; проницательные люди тотчас сообразили, что мы не сочувствуем свободе печатного слова (термин «гласность» мы не решаемся употреблять,— до того он опошлил). Был в наших словах и тот смысл, что каково бы, наконец, ни было безотнositельное достоинство советов и объяснений, нечего ожидать от них никакой пользы делу, когда советников и объяснителей просто считают злонамеренными, презирают их, гнушаются ими; проницательные люди тотчас же поняли, в чем дело, и сильно обиделись: они сообразили, что мы уважаем их менее, нежели людей, чувства которых изобличали перед ними; они сообразили также, что мы хвалим обскурантов и глупцов, и вознегодовали на нас.

Как вы полагали, читатель: можно ли было ожидать, чтобы люди умные, ученые и отчасти знаменитые оказались одаренными такою проницательностью?

Но к чему это предисловие? А хотя бы на первый раз к тому, чтобы доказать необходимость еще другого предисловия.

Мы хотим быть строгими к г. Чичерину. Для вас, читатель, для вас, человек обыкновенный, не одаренный изумительною проницательностью, причины строгости ясны сами по себе, без всяких объяснений. Г. Чичерин пользуется громкою известностью, а люди, пользующиеся известностью, должны быть разбираемы строго; когда речь



идет о них, общественная польза требует не комплиментов, а серьезной критики. Г. Чичерин человек умный и ученый. От умного и ученого человека надобно требовать многого; если он говорит пустяки, его можно по всей справедливости упрекать за это, — снисходительность, на которую имеют право простяки, была бы относительно его неуместна. Это все ясно для вас, читатель, для вас, человек с обыкновенным здравым смыслом. Вы сами догадались бы, что мы строги к г. Чичерину потому, что он знаменитость, и успокоились бы на этом и не осудили бы нас за строгость порицания, если бы оказалось, что порицание основательно.

Но люди проницательные тотчас сообразят, что с этими простыми причинами не следует ограничиваться их догадливости. Г. Чичерин — знаменитость, стало быть, если его порицают, то порицают по каким-нибудь личным расчетам; ведь без особенных личных побуждений нельзя порицать знаменитостей, по мнению проницательных людей. И они нападут на нас за г. Чичерина с таким же восхитительным негодованием, как за Поэрио и за статью о прошлой годней литературе<sup>2</sup>.

Нечего делать, надобно покаяться перед проницательными людьми, от догадливости которых никогда не утаишь самых сокровенных своих мыслей! Да, наша строгость к г. Чичерину происходит из личных побуждений. Каковы эти побуждения, мы должны объяснить, — не ради вас, читатель, человек обыкновенный, а ради людей проницательных.

Г. Чичерин считает себя непогрешительным мудрецом. Он все обдумал, все взвесил, все решил. Он выше всяких заблуждений. Этого мало. Он один имеет эту привилегию на мудрую непогрешительность. Кто пишет не так, как приказывает он, тот человек вредный для России. Он приказывает смотреть на все его глазами, говорить обо всем в его тоне под страхом политической казни. Если вы осмелитесь заметить ему, что он напрасно принял на себя труд приказывать и наказывать, он пожмает плечами и отвечает вам: «Вы, друг мой, человек прекрасной души, но вы глупы. Я один понимаю вещи, вы все ничего не смыслите; слушайтесь, слабоумные друзья мои, меня, единственного умного человека между вами».

Из этого факта родилась наша статья. Без этого факта не только быть строгими к г. Чичерину, но и говорить о нем мы не захотели бы, потому что не стоило бы труда разбирать его книгу. Положим, что она наполнена стран-



ными понятиями, но мало ли у нас книг, наполненных странными понятиями? Почему же именно ему мы стали бы вменять в упрек то, в чем столько же виноваты десятки других писателей, также пользующихся известностью умных и ученых людей? Его книга не хуже многих других, так пусть бы оставался он с своим авторитетом, довольно безвредным по ограниченности круга людей, имеющих охоту соглашаться с ним.

Но он взял на себя высокомерие приказывать и наказывать, он взял на себя высокомерие объявлять вредными людьми или глупцами тех, кто не покоряется ему, а это уже другое дело. Надобно посмотреть, что это такой за мудрец и владыка появился между нами. Он предписывает нам, какие понятия должны мы иметь. Посмотрим, имеет ли он сам понятие о том, чему учить взялся нас.

Во-первых, он учит, каков должен быть публицист. Это любопытно. Кстати же, он и сам публицист. Посмотрим, как понимает он дело, за которое взялся:

«Когда вследствие исторических обстоятельств один из существенных элементов государства развивается в ущерб другим, тогда общественное мнение, чувствуя невыгоды исключительного направления, естественно влечется в противоположную сторону. Редко при этом сохраняется должное чувство меры. Болезненный опыт, ежечасно ощущаемый гнет делают более живыми представления о темных сторонах известного порядка и заставляют забывать его существенные и благие последствия. Общественное мнение, заходя за пределы разумных требований, идет к полному отрицанию тяготеющего над ним элемента. Так при анархическом разгуле свободы общество воздвигает над собою власть, которая стесняет деятельность граждан даже в самых умеренных ее проявлениях, и, наоборот, когда рука сдерживающей власти чувствуется слишком сильно, общество естественно видит себе спасение только в возможно большем ограничении ведомства правительственных органов.

Публицист, который не старается льстить современному увлечению умов, который имеет в виду не успех, основанный на поклонении современному кумиру, а беспристрастное исследование истинных начал общежития, не должен подчиняться подобным требованиям. Он за случайным не забывает существенного, алоупотребления не скрывают от него благих начал, на которых основывается то или другое учреждение. И взгляд свой, добытый внимательным изучением истории современной жизни, он обязан высказать прямо и откровенно, хотя бы он противоречил временному настроению общества.

Могут говорить о так называемых практических целях, о необходимости ярче выставить недостающую сторону общежития и не дать противоположному мнению орудия, которое может быть употреблено во зло. Не думаю, чтобы практические цели должны были вести к намеренному искажению истины. Известный порядок можно исправить не утаением существенных его сторон, не старанием наложить слишком густые краски на невыгодные его последствия, а разумным его пониманием и беспристрастным исследованием естественных его границ. Одностороннее отрицание ведет со стороны противоположного начала к отрица-



нию столь же одностороннему. Вместо правильного развития, основанного на взаимном понимании, на взаимном уважении различных общественных сил, в обществе водворяется борьба, и чем резче высказывается каждое направление, чем более оно вдается в крайности, тем упорнее взаимное недоброжелательство, тем болезненнее столкновения, тем более жертв и страданий в общественном организме. Повинуясь безусловно временному влечению, общество быстро приходит к разочарованию; слишком напряженные силы преждевременно ослабевают, и люди с грустью окидывают взором свое прошедшее, жалея о неудавшихся попытках, об утраченных силах, об обманутых надеждах». (Предисловие, стр. IX и X).

Все это будет совершенно верно, если вместо слова публицист поставим слово ученый: мы часто слыхивали, что главным достоинством ученого должно быть служение науке, не поддающейся минутным увлечениям общественного мнения. Но в этом ли должно состоять главное качество публициста? На его ли специальной обязанности лежит исследование истинных начал общежития? Нет, он выражает и поясняет те потребности, которыми занято общество в данную минуту. Служение отвлеченной науке не его дело; он не профессор, а трибун или адвокат. Г. Чичерин не имеет понятия о качествах той роли, какую берет на себя. Он не замечает, что публицист, воображающий себя профессором, так же странен, как профессор, воображающий себя фельетонистом.

В каждом человеке, для которого главное дело — живые люди, а не отвлеченная наука, главным качеством должна быть способность понимать, в каком положении находится его публика, его слушатели или читатели. Если он начнет проповедывать истины, которые вовсе не относятся к его слушателям, он будет смешон. Лень — дурной порок; но предположим, что в Англии или в Северной Америке является господин, начинающий ораторствовать против лени: он будет нелеп, потому что из его слушателей, вся жизнь которых — неутомимая деятельность, ни один не нуждается в предостережениях против лени. Но еще смешнее, когда оратор начинает предостерегать от исключительного увлечения каким-нибудь хорошим качеством, которое едва-едва, самым слабым образом начинает возникать в его слушателях. Что мы подумали бы о человеке, который стал бы говорить о вреде исключительного пристрастия к общественной тишине в кругу нынешних мексиканцев, каждый год сочиняющих по три революции? Отвлеченные истины могут быть уместны в ученом трактате, но слова публициста должны прежде всего сообразоваться с живыми потребностями



известного общества в данную минуту. Что же мы слышим от г. Чичерина? Он предостерегает нас от одностороннего увлечения каким-то отрицанием чего-то будто бы хорошего, существующего у нас, — чего именно, предоставляем читателю отыскать в отрывке, нами выписанном из него. Вероятно, наше общество страдает необыкновенною живостью и силою чувств, кажущихся г. Чичерину вредными. Вероятно, мы похожи на каких-нибудь северо-американцев, не признающих никакого вмешательства центральной власти в их дела? Вероятно, большинство читателей г. Чичерина ужасные анархисты, которым надобно проповедывать о необходимости некоторого сохранения государственной власти, совершенно ими отвергаемой? <Г. Чичерин русскому обществу проповедует о повиновении властям, — не значит ли это совершенно не понимать характера и положения людей, с которыми имеешь дело?> Кажется, <он> был бы готов доказывать готтентотам вред одностороннего увлечения учеными занятиями, доказывать рыбам опасность излишней болтливости, предостерегать белого медведя от пристрастия к тропическому климату.

Мы не сомневаемся в том, что г. Чичерин проникнут прекраснейшими намерениями, но нас изумляет прелестный такт, с которым он берется за дело, — изумляет верность его взгляда на коренные недостатки нашего общества. Он пишет по-русски, и ему кажется нужным объяснять, что он не намерен потворствовать анархическим стремлениям. Ему кажется, будто наше общество до излишества живо чувствует вредную сторону принципов, господствующих в нем. Мы, видите ли, страдаем избытком одностороннего отрицания, и нас надобно предостерегать от расположения к борьбе, к упорству в столкновениях. Странное понятие о нашем обществе!

Для публициста, кроме знания потребностей общества, нужно также понимание форм, по которым движется общественный прогресс. До сих пор история не представляла ни одного примера, когда успех получался бы без борьбы. Но, по мнению г. Чичерина, борьба вредна. До сих пор мы знали, что крайность может быть побеждаема только другою крайностью, что без напряжения сил нельзя одолеть сильного врага; по мнению г. Чичерина, следует избегать напряжения сил: он не знает, что, одержав победу, войско всегда бывает утомлено и что если оно боится утомления, то незачем ему выходить в поле.

Еще одно любопытное понятие. Г. Чичерин говорит об искажении истины в угодность современному кумиру



общественного мнения. Боже ты мой милостивый! Мы, русские писатели, по мнению г. Чичерина, можем искажать истину из раболепства перед общественным мнением! В каком удивительном положении он видит нас! Читатель! Знали ли вы до сих пор, кто заставляет меня часто лгать перед вами? Вы сами, читатель. Я, видите ли, мог бы говорить с вами обо всем, что хочу и как хочу, но вы, читатель, связываете мне язык вашим деспотизмом. Нет, книга г. Чичерина написана не по-русски, издана не в Москве: он, вероятно, имел в виду северо-американскую публику, которая делает все, что хочет, и заставляет всех преклоняться перед своею волею. Надобно полагать, что г. Чичерину нужен был необыкновенный запас мужества, чтобы защищать бюрократию и централизацию, эти драгоценности, совершенно изгнанные из нашего общества и беспощадно преследуемые в нем. Надобно предполагать, что он писал для общества, над которым владеют ультрареспубликанцы, сажающие в тюрьму каждого, кто замолвит слово в пользу монархического порядка.

Итак, главный порок нашего общества состоит в том, что оно слишком страстно, слишком непреклонно, слишком круто проводит свои стремления, <противные к существующему порядку,> и публицист, пишущий по-русски, обязан говорить нам, что мы должны соблюдать умеренность в борьбе, которую ведем так энергически. (Мы теперь заняты беспощадным разрушением всего существовавшего порядка, и) надобно публицисту вразумлять нас, чтобы мы оставили хотя какие-нибудь следы старинных наших учреждений; главное, чего должен остерегаться публицист, это — потворства «современному кумиру нашего временного увлечения». Изумительно, изумительно!

«Из всего предыдущего выходит, что публицист должен становиться на точку зрения беспристрастного наблюдателя, который изучает историю и современную жизнь во всей их многосторонности, не исключая и не осуждая безусловно ни одного из элементов, входящих в их состав. Такое требование, выраженное в виде общей формулы, конечно, не встретит возражений; не нельзя скрывать от себя, что как скоро дело доходит до частных, так неизбежны не только разногласия, но и прямые уклонения от принятого начала. Людям, которые увлекаются известным направлением или слишком живо ощущают на себе бремя общественных недостатков, не правится всякое слово, сказанное в пользу того, что болезненно на них отзывается. Признавая в теории необходимость беспристрастного воззрения, они рошут на него, когда оно является перед ними в осязательной форме. Это можно ожидать в особенности у нас, где гражданская жизнь мало развита и общественные вопросы до сих пор не обсуждались гласно. Мы не привыкли еще обозревать их с различных сторон; мы даже не умеем еще подмечать в суждениях меру и границы.



Слыша похвалу или порицание, мы склонны считать их за выражение мнения безусловного и не обращаем внимания на то, что они высказываются в известных пределах, при известных обстоятельствах. Еще хуже, когда эта непривычка к теоретическим приемам соединяется с недостатком общественной деятельности. Практические столкновения лучше всего показывают естественные границы того или другого общественного начала и необходимость восполнить одно другим. Там, где граждане не принимают живого участия в общественных делах, неизбежно господствует односторонность взглядов, и это ведет иногда к прискорбным явлениям. Нет ничего печальнее общества, которое, чувствуя себя не в силах исправить гнетущее его зло, тратит время в бесплодных воздыханиях, в ожесточенной критике, которое, оставаясь в бездействии, ожидает, чтобы чужая рука сняла тяготеющее над ним бремя. Общество, которое хочет что-нибудь сделать, должно глядеть на вещи прямо и трезво. Первый признак разумной силы есть спокойствие, а спокойствие ведет к ясному и всестороннему пониманию жизненных явлений, без прикрас, без утайки и без раздражения». (Предисловие, стр. XVIII, XIX и XX.)

На все это объяснение в пользу беспристрастия мы будем отвечать только сближением двух мыслей самого г. Чичерина. Он советует нашему обществу иметь всесторонний взгляд, чуждый раздражения, а между тем сам говорит, что в нем «неизбежно» должна господствовать односторонность взглядов. Не бесполезен ли совет удерживаться от того, что неизбежно? И если кто-нибудь станет советовать человеку не быть раздраженным, когда сам признает раздражение неизбежным, не показывает ли он своим советом, что лишен способности понимать условия действительной жизни? Очень жаль, что эти советы не обращены, например, к французам, сардинцам и австрийцам: они ведут войну<sup>3</sup>, в войне неизбежны сражения, в сражениях неизбежны выстрелы; но мы думали бы посоветовать им, чтобы они сражались, не стреляя из пушек. Дело другое, если вы советуете им кончить войну и разойтись по домам; но нет, г. Чичерин не против развития, он только хочет, чтобы развитие совершалось бесстрастным образом, по рецепту спокойствия и всесторонности. К сожалению, этого никогда не бывало. Человека душит разбойник, и по рецепту г. Чичерина этот человек в то самое время, когда старается отбиться от разбойника, должен спокойно рассуждать о том, что разбойник возникает из исторической необходимости, имеет историческое право существования; что великая Римская империя была основана разбойниками; что если должно уважать римское право, то должно уважать и разбойников, без которых его не было бы, — помилуйте, до того ли человеку, чтобы помнить обо всех этих прекрасных вещах!



Из этих советов быть холодным, бесстрастным, подавлять в себе всякое раздражение мы заключаем, что г. Чичерин знает только, как пишутся ученые книги, но не знает, какими силами развивается общественная жизнь. Он думает быть публицистом, но является школьным учителем, у которого главная забота та, чтобы ученики смирно сидели по своим местам и слушали его наставления. Первым делом у него выставляется то, чтобы общество отказалось от всяких живых чувств из боязни нарушить теоретическое бесстрашие.

Мы думаем, что г. Чичерин напрасно взялся быть публицистом, если нет у него в груди живого сердца. Нам кажется, что в нем слишком сильна склонность к схоластике. Быть может, мы ошибаемся, и дай бог, чтобы мы ошиблись; но нам кажется, что живой человек при нынешнем положении нашего общества не вздумал бы говорить против «мечтательных отрицателей существующего порядка», против «слишком отважных нововводителей», против «болезненного нетерпения». Быть может, в этих неуместных усилиях подавить то, что, право, вовсе не нуждается в подавлении со стороны г. Чичерина, виновата не натура его, а случайная односторонность его развития; но как бы то ни было, г. Чичерин в настоящее время решительно не понимает, какому обществу он дает свои советы, не умеет судить о том, что уместно и что неуместно в статьях, имеющих претензию руководить нашей общественною жизнью. Только человек, одержимый схоластикою, может воображать, что русскому публицисту надобно быть защитником бюрократии.

Но если г. Чичерин неспособен теперь быть публицистом, которому нужно живое сочувствие к современным потребностям общества, то, быть может, он имеет качества, нужные для школьного учителя. Будем сидеть смирно по его приказанию и слушать его лекции. Обязывая школьников сидеть смирно, школьный учитель сам обязан по крайней мере быть порядочно знаком с тем предметом, о котором читает он лекцию. Главные предметы в лекциях г. Чичерина: демократия, централизация и бюрократия. Посмотрим, какое понятие он имеет об этих вещах.

«...относительно гражданского устройства и управления абсолютизм и демократия именно потому и сходятся между собой, что в этой сфере прочнее всего утвердились результаты всей новейшей истории Западной Европы, независимо от борения партий, независимо от того, куда переносится источник власти. Уничтожение самостоятельных союзов, корню-



рационных прав, сословных привилегий, вообще уничтожение средневековых форм жизни, основанных на дробности общественного быта, и создание единого государственного тела — вот великое дело, начало которому положили абсолютные государи и которое преемственно перешло и к новой демократии. В этой системе народ представляет единую, естественно расчленяющуюся массу, в которой ни одна часть искусственным образом не перевешивает другой, в которой ни один член не вытягивает из другого жизненных соков. Государственные учреждения с целю системою чиновников составляют общую связь этого тела, общее его строение, по которому совершаются его общественные отправления, а централизация сводит это устройство к единству, устанавливая центральный пункт, от которого исходит и к которому притекает правительственное движение. Конечно, и здесь могут быть невыгодные стороны, злоупотребления; не оживленная народным духом, эта форма может превратиться в мертвую машину. Но что касается до самой сущности этих установлений, то нет сомнения, что они придают народной жизни такое единство, какого бы она без того никогда не имела. В ней создается общая среда, господствующая над всеми частными стремлениями и интересами; в ней чувствуется единое биение пульса, разливающего кровь по всем членам, и вместе с тем каждая часть свободно занимает то место, к которому она тяготеет по своей природе. Народ перестает быть собранием разнородных частей; он делается общественною единицею, он становится особью, которая живет единою жизнью» (стр. 7 и 8).

В дополнение к этому месту приведем еще следующее:

«Демократические начала проникают и во внутреннее управление Англии. Здесь она является в виде усиления центральной власти на счет местных. Независимость последних основана на преобладании аристократического элемента в государстве. Поэтому все меры, которые клонятся к уменьшению их значения, к замене даровых должностей, замещаемых богатыми землевладельцами, бюрократиею, доступною всем и каждому, ведут вместе с тем к уничтожению общественного неравенства и преобладанию одного элемента над другим. Конечно, успехи централизации и бюрократии в Англии чрезвычайно медленны; однако они не подлежат сомнению. В течение последнего двадцатипятилетия очевидные злоупотребления показали необходимость преобразовать и подчинить высшему правительству управление общественным призрением, поставить под надзор центральной власти медицинскую полицию, тюрьмы, воспитательные заведения, наконец в недавнее время и самую полицию городов. Каждый новый закон об администрации, представляемый парламентом, имеет целью усилить центральную власть. Правда, это стремление встречает себе сильное противодействие, но тем не менее оно существует как в правительстве, так и в народе. Вопрос о бюрократии поднят был в последнее время с особенною силою. Война выказала в ярком свете недостатки управления, основанного на привилегиях одного сословия. В то самое время, как раздалась вопли общественного мнения по случаю действий английской армии в Крыму, составила лига в пользу административной реформы. Цель ее — уничтожить в управлении преобладание аристократии и сделать его доступным способностям и талантам, в какой бы сфере они ни проявлялись. Сами государственные люди Англии признают в некоторой степени необходимость преобразования, вследствие чего этот вопрос стоит теперь на первом плане в делах внутренней политики» (стр. 24—25).



Пусть нас извинит г. Чичерин, но мы должны сказать, что его понятия о формах государственного устройства чрезвычайно сбивчивы. Основным принципом его понятий оказывается бюрократическое устройство, и ему представляется, будто демократия похожа на абсолютизм в том отношении, что очень любит бюрократию и централизацию. Но какую централизацию и бюрократию найдет он в Северо-Американских Штатах или в Швейцарии? По существенному своему характеру демократия противоположна бюрократии; она требует того, чтобы каждый гражданин был независим в делах, касающихся только до него одного; каждое село и каждый город независимы в делах, касающихся его одного; каждая область — в своих делах. Демократия требует полного подчинения администратора жителям того округа, делами которого он занимается. Она хочет, чтобы администратор был только поверенным той части общества, которая поручает ему известные дела и ежеминутно может требовать у него отчета о ведении каждого дела. Демократия требует самоуправления и доводит его до федерации. Демократическое государство есть союз республик или, лучше сказать, образуется из нескольких постепенных наслоений республиканских союзов, так что каждый довольно значительный союз состоит, в свою очередь, из союза нескольких округов, — таково устройство Соединенных Штатов. В них каждая деревенька есть особенная республика; из соединения нескольких деревень образуется приход, который опять-таки составляет самостоятельную республику; из соединения нескольких приходов образуется новая республика — графство; из нескольких графств — республиканский штат; из союза штатов — государство. Неужели это сколько-нибудь похоже на бюрократию? В Швейцарии каждый кантон может иметь у себя даже особенное войско. Откуда же взялось у г. Чичерина мнение о бюрократии, как форме демократического устройства? Это просто следствие той путаницы, какую слишком доверчивый ученый может целыми ковшами черпать из великих мыслителей французской мнимо-либеральной, а в сущности реакционной школы. Есть на свете разные мелкие французы, которые многим из нас кажутся великими людьми и которые рассуждают следующим образом: Англия — страна аристократическая, и в ней нет ни централизации, ни бюрократии; Франция — страна демократическая, и в ней есть централизация и бюрократия. Следовательно, централизация и бюрократия суть принадлежности демо-



кратии. Это умозаключение точно такого же рода, как, например, ученые греки, приехавшие в Рим, были развратные трусы; следовательно, просвещение ведет к разврату и трусости. Франция более 200 лет имела абсолютное правительство; в течение этого долгого времени абсолютизм успел выработать соответствующие себе формы управления, бюрократию и централизацию и успел приучить к ним французов. Вековые привычки исчезают не легко и не скоро. Демократия не имеет такой волшебной силы, чтобы один звук этого слова мог перерождать нравы народов в несколько лет; потому французы до сих пор не успели отделаться от бюрократии и централизации, введенной у них *абсолютизмом*, как не успели отделаться от многих других привычек, привитых к ним *абсолютизмом*. Французы, например, до сих пор мечтают о завоеваниях, до сих пор страшно любят щегольство, франтовство, блеск и тому подобные пошлости: неужели все это принадлежности демократии? Нет, это просто догнивающие остатки того порядка дел, какой был у них 100 и 200 лет тому назад. Именно потому, что эти старинные привычки еще недостаточно ослабели между французами, демократическая форма до сих пор не могла утвердиться у них. Наполеон I и реставрация старались воскресить аристократию; Орлеанская династия всячески старалась поддержать ее; Наполеон III в третий раз старается воскресить ее. У французов еще недостает привычки к демократическому устройству, и все их правительства, возникавшие из гибели кратковременных попыток к созданию демократического устройства, нимало не могут служить образцами приверженности к тем новым формам, на подавлении которых основывали они свою власть. Наполеон I, Бурбоны, Луи-Филипп, Луи-Наполеон — все они одинаково держались опорою партии застоя или даже чистой реакции. Удивительно ли, что при всех этих управлениях поддерживалась форма администрации, принадлежащая французской старине? Но все те французы, которые действительно, а не на словах только привязаны к демократическому принципу, — все они до одного враждебны теперь бюрократии и централизации. В ненависти к этим формам они не уступают самому заклятому английскому аристократу. Правда, до сих пор не успели они водворить во Франции того устройства, какое желали бы дать своему отечеству; но из этого следует только, что Франция до сих пор не успела получить учреждений, соответствующих ее демократическим стремлениям, а вовсе не то, чтобы цент-



рализация и бюрократия были принадлежностями демократического принципа. Французы похожи на горожанина, недавно переселившегося в деревню и прогуливающегося по полю в палевых перчатках и лакированных сапогах. Должны ли мы заключать по этим принадлежностям его костюма, что палевые перчатки и лакированные сапоги составляют принадлежность истинно-деревенского образа жизни? Надобно полагать, что, поживши в деревне, он отвыкнет от этой великосветской дряни.

Г. Чичерин, воображающий себе демократию по неразвившимся французским ее формам, искаженным сильною примесью старых учреждений, которые уцелели со времен абсолютизма, имеет самое фальшивое понятие о демократии. Не менее фальшиво его понятие о существенном характере абсолютизма, который представляется ему чем-то столь же враждебным аристократии, как демократический принцип. Такой взгляд опять-таки почерпнул он из французских книжек, восхваляющих Мазарини или Ришелье, будто бы благодетелей Франции. Штука в том, что французские короли старались завоевать области, принадлежавшие могущественным феодальным правителям, и, наконец, успели покорить их. Разумеется, пока шла война, была и вражда. Разумеется, обе воевавшие стороны прибегали ко всяким средствам, чтобы достичь победы. Но если теперь австрийское правительство было бы радо произвести революцию в Париже, лишь бы сбыть с рук Наполеона III и сохранить Милан и Венецию, из этого еще вовсе не следует, чтобы австрийское правительство отличалось сочувствием к республиканскому устройству и ненавидело деспотизм. Напротив, можно думать, что по своим принципам оно очень мало разнится от своего противника. Точно так герцог бургундский, герцог бретанский ничем не разнились в своих принципах от короля французского, с которым враждовали. Вражда шла только из-за того, что разным герцогам и графам не хотелось потерять своих владений, а королю французскому хотелось приобрести эти области. Чтобы склонить к измене подданных своего врага, король французский мог покровительствовать притесненным горожанам его областей, но зато и какой-нибудь герцог бургундский помогал учреждению демократической республики в Париже. Все это было военною тактикою вроде того, как монголы могли для упрочения своего господства поднимать рязанских князей против московских или московских против тверских. Неужели в самом деле какой-нибудь Мамай или Узбек огорчались от



притеснений, которым какой-нибудь Всеволод или Георгий подвергал соседнее княжество?

Но вот победа была решена, вся Франция соединилась под властью короля, отдельных владений не осталось. Каков принцип известного учреждения, мы можем видеть, когда оно одержит победу и получит полную силу перестроить жизнь по своему духу. Являются ли французские абсолютные короли, начиная с Людовика XIII или даже Генриха II, сколько-нибудь расположенными к «уничтожению сословных привилегий», как думает г. Чичерин? Напротив, они устраивают целое государство таким образом, чтобы весь народ жил исключительно для содержания двора и придворной аристократии. Все подати лежат на простолюдинах, почти вся масса простолюдинов обязана сверх того личными повинностями дворянству. Одни дворяне имеют значение, они одни пользуются покровительством государственной власти. С Людовика XI или, пожалуй, с Филиппа Прекрасного до самого конца XVIII века ни одна из привилегий дворянства не была отменена королевскою властью; напротив, с каждым поколением расширяется их покровительство дворянству и в администрации, и в богатстве, и во всех отношениях официальной жизни. Центр всей жизни есть двор; двор состоит исключительно из аристократов — какая же тут противоположность принципа между абсолютизмом и аристократиею? Напротив, французский король есть представитель и глава аристократического принципа. Он все государство устраивает в духе самой исключительной аристократии. Не понимать этого может только тот, кто не имеет правильного понятия ни об одном из фактов французской истории XVI, XVII и XVIII столетий.

Но от Франции г. Чичерин переходит к Англии. Он видит, что в последнее время заметно стала падать в ней аристократия и быстро усиливается демократический элемент. Как вы думаете, в чем полагает он сущность этого движения? Он до того занят своею теориею неразрывной связи бюрократии с демократиею, что воображает, будто бы сущность развития английских государственных учреждений в наше время состоит в развитии бюрократического начала, которое до сих пор было в Англии слабо к великому сожалению г. Чичерина. Это просто забавно. Из 28 миллионов англичан, шотландцев и ирландцев найдется ли хотя один человек от самого отсталого ультра-тори до самого горячего хартиста, который бы не гнушался бюрократиею, не пришел в неистовство от одной мысли, что



бюрократия когда-нибудь может быть введена в Англии? Английские аристократы очень щедро осыпают своих врагов демократов всяческими упреками, но никто в целой Европе никогда не слыхивал, чтобы они приписывали им наклонность к бюрократии. Каждому ребенку известно, что английские демократы с состраданием и презрением смотрят на французское бюрократическое устройство и если сочувствуют каким-нибудь учреждениям, то единственно австралийским и северо-американским, в которых бюрократии еще гораздо меньше, нежели в английских. Рассуждения г. Чичерина об усилении бюрократии в Англии от усиления демократии могут служить самым восхитительным примером того, до какого уклонения от очевидной истины может доводить схоластика, отправляющаяся от фальшивого основания и безбоязненно шагающая кривыми силлогизмами с полным пренебрежением к смыслу фактов. «Бюрократия есть принадлежность демократии. В Англии развивается демократия, следовательно, Англия вводит у себя бюрократию». От Пальмерстона до Эрнеста Джонса, от Росселя до Ферджуса о'Коннора все нововводители — и умеренные либералы, и радикалы, и хартисты Англии — кричат в один голос: «мы гнушаемся бюрократией»; но г. Чичерин мужественно поучает их: «я лучше вас знаю, кто вы таковы: все вы отчаянные бюрократы». Начитавшись его книги, мы думали даже предложить Пальмерстону должность исправника в городе Туруханске; это место совершенно соответствовало бы его наклонностям по изображению г. Чичерина; с каким удовольствием писал бы он: «На отношение вашего высокородия за № 15 217 имею честь отвечать, что беспаспортной солдатской жонки Авдотьи Никитиной на жительстве в Туруханском уезде не оказалось».

Впрочем, очень может быть, что г. Чичерин воображает себе бюрократию не в таком виде, как представляется она нам. Быть может, и абсолютизм, и аристократия, и демократия представляются ему вовсе не в том виде, в каком привыкли представлять их себе мы. Действительно, это очень может быть; по крайней мере надобно предполагать, что если бы эти понятия не представлялись ему совершенно различным от обыкновенного понимания способом, то он не наговорил бы о них таких странных вещей, какими наполнена его книга.

Мы вполне выписывали из книги г. Чичерина длинные отрывки, на которых основываем свое заключение, что он



действительно не имеет понятия о существенном смысле тех форм государственного устройства, объяснению которых посвящена вся его книга. Читатели могли убедиться, что мы не возводим на него небылиц, когда говорим, что он не знает ни демократии, ни абсолютизма, ни аристократии, ни бюрократии, ни централизации. Получив такие результаты, мы можем прекратить выписки, потому что вся остальная запутанность понятий в его книге составляет уже естественное следствие отсутствия правильного взгляда на эти основные предметы его рассуждений. Пересмотрим же коротко содержание его книги.

Первая статья «О политической будущности Англии», написанная по поводу книги Монталамбера<sup>4</sup>, начинается утешительным уверением, что вопросы, волнующие Западную Европу, «не имеют для нас жизненного значения». Утешительно это потому, что очень благоприятствует смотреть нам на события Западной Европы «без гнева и пристрастия». Мы готовы были бы думать, что это уверение — просто избитая мысль, употребляющаяся многими из нас по условному правилу, имеющему свою внешнюю выгоду; но отрывки о роли публициста, выписанные нами из предисловия, убеждают нас, что г. Чичерин в самом деле воображает, будто это так и будто это очень утешительно. Это удивительно. Кому не известно, что вот уже очень много лет наша судьба связана с судьбою Западной Европы и каждое важное событие в ней отражается на нас? Фридрих II ограбил Марию Терезию, — и вот мы были запутаны в Семилетнюю войну. Европа стала поклоняться Вольтеру, и у нас началась комедия гуманных возгласов в угодность Вольтеру, лицемерное хвастовство либерализмом; но Вольтер имел у нас много и таких приверженцев, которые не были лицемерами. Вспыхнула французская революция, и характер администрации у нас сделался решительнее, прямее, и пружины действия перестали прикрываться философскими украшениями. Из революции вышел Бонапарте, и мы были запутаны в продолжительные войны, кончившиеся удачно, но разорившие Россию и присоединившие к ней Варшаву. Потом Меттерних основал Священный союз, и кому не известно влияние этого учреждения на судьбу России? Продолжать ли этот перечень? Нам кажется, перечисленных фактов довольно, чтобы отказаться нам от возможности равнодушно смотреть на западноевропейские события. «Перевес либерализма или демократии, успехи революции или удача диктатуры в Западной Европе — все это вопросы, не имеющие



для нас жизненного значения», — этих слов уже достаточно, чтобы показать совершенное отсутствие способности понимать положение России. Впрочем, напрасно мы оставались на этом: мы уже знали, что г. Чичерин не способен быть публицистом, а способен быть только ученым схоластиком. Для схоластика нет надобности понимать отношения своего общества к фактам, которыми он занимается; ему только нужно знать факты.

Но и фактов г. Чичерин не знает сам, а принимает их на веру от других, которые не заслуживали его доверия. Гнилая оппозиция французских академиков называет Монталамбера великим оратором, а его книгу замечательным произведением; г. Чичерин смотрит на вещи не так, как французские академики, и потому мог бы думать о Монталамбере и его книге иначе. Но он принимает этого реакционного болтуна очень серьезно за защитника свободы, за представителя либерализма и серьезно рассуждает о его понятиях, будто бы о мыслях дельного человека. Монталамбер говорит об Англии вздорные общие места вроде того, что «привязанность к старине составляет отличительную черту английского народа», что англичане «отличаются от других народов любовью к разоблачению своих собственных недостатков», что английская аристократия «не враждебна никакому прогрессу»; г. Чичерин очень серьезно повторяет эти пустые слова, или несправедливые, или ровно ничего не выражающие: по всему видно, что Монталамбер для него кажется драгоценным источником сведений об Англии. Человек ученый не должен был бы принимать дрянную брошюру за что-нибудь значительное. Он спорит с Монталамбером очень важно, как будто бы с противником, заслуживающим уважения.

Такое же чрезмерное уважение к пустым репутациям видно в следующей его статье «Промышленность и государство в Англии», составленной по поводу книги Леона Фоше<sup>5</sup>. Леон Фоше был человек довольно трудолюбивый, но вовсе не даровитый. Либерализм его всегда был очень узок и сильно отзывался консерватизмом. Г. Чичерину кажется, что он испортился только с 1848 года. Он думает, что только тогда Леон Фоше «покинул точку беспристрастного наблюдателя и сделался членом партии», что только тогда «примкнул он к тому близорукому большинству французского Законодательного собрания, которое не умело основать новых учреждений». Напрасное прискорбие. Леон Фоше всегда принадлежал к близоруким людям, которые враждовали против новых учреждений. Г. Чиче-



рин не имеет верных сведений об отношениях партий при Орлеанской династии; он не знает характера той оппозиции, которая признавала своим предводителем Тьера, и характера той экономической школы, которая называлась тогда либеральной, но либерализм которой ограничивался хлопотами о понижении тарифа. Впрочем, книга Леона Фоше не есть пустая болтовня, как памфлет Монталамбера: в ней собрано много фактов. Мы не осуждаем г. Чичерина за то, что он вздумал серьезно пользоваться ею. Но любопытен вывод, к которому клонятся все его выписки из Леона Фоше и Лаверня<sup>6</sup>. Мы уже говорили об этом выводе. Г. Чичерин воображает, что сущность реформ, произведенных парламентом в экономическом устройстве Англии, ведет к усилению бюрократии; а между тем из этих реформ все важнейшие состоят в робком, неполном, иногда нелепом удовлетворении некоторым из экономических потребностей английских простолюдинов; и если эти реформы принадлежат к какой-нибудь системе понятий, то разве к системе тех экономистов, которые думают прикрасить ветхое рубище своей теории некоторыми лоскутками социализма. Например, в Англии запретили держать детей на фабричной работе более 12 часов в день; потом запретили нанимать женщин для работы в рудниках; потом предписали, чтобы дети, работающие на фабриках, непременно посещали школу; потом запретили держать женщин на фабричной работе более 12 часов в сутки. По мнению г. Чичерина, это — бюрократия и централизация, а по мнению каждого экономиста, эти постановления принадлежат к тому, что г. Чичерин называет «безумными проявлениями социализма». Таких недоразумений в статье о промышленности Англии множество. Но вот место, которое показывает, что г. Чичерин не знает не только того, к какому порядку идей принадлежат перечисляемые им факты, но не знает даже того, к какому порядку идей принадлежат его собственные мысли. Он начинает говорить о том, что расширение центральной власти, или вмешательство правительства, должно в Англии усиливаться еще значительнее, нежели насколько усилилось всеми произведенными реформами. Тут мы читаем между прочим следующее соображение:

«Правительству должны подлежать, — говорит г. Чичерин, — все те общественные установления, которые не требуют личной предприимчивости и энергии. Таково, например, страхование. В наше время оно производится частными компаниями, но нет сомнения, что оно с таким же успехом может быть предпринято правительством. Настоящее место



частного капитала там, где он является орудием личной деятельности; здесь же капитал целого общества служит обеспечением риска, которому подвергается каждый из его членов. Потому мы думаем, что с большим и большим развитием системы страхования оно поступит, наконец, в ведомство правительственной власти. Самое государство можно в некотором отношении рассматривать как общество взаимного страхования, составленное целым народом: каждый гражданин уделяет часть своего достоинства в общую кассу для того, чтобы получить от государства обеспечение личной своей деятельности».

Мы не станем разбирать, сам ли г. Чичерин написал это место или заимствовал его из Милля; он не отмечает, что заимствовал его, следовательно представляет как свою собственную мысль. Нам остается только поздравить централизацию с приобретением такого нового характера. В старину подобные вещи назывались регалиями, или монополиями, казны, но никак не централизацией, или бюрократиею; ныне называются они иначе; как именно называются ныне они и к какому порядку идей принадлежат, мы не станем говорить. Но скажем, что присвоение государству страхования, по понятиям нынешних экономистов, ничем не отличается от присвоения государству исключительного права иметь железные дороги, от наложения на него обязанности давать работу решительно каждому, не имеющему работы, принимать на общественное содержание каждого бедного и т. д. Если мы не ошибаемся, все эти мысли составляют принадлежность теории, которая заслужила от г. Чичерина название безумной. Нам остается только жалеть, что г. Чичерин, по-видимому, незнаком с этою теориею, а лишь слыхивал о ней от людей, подобных Монталамберу, Токвилю, Сюдру, Луи Ребо. Недурно было бы ему заметить вред, происходящий от этого пробега в знакомстве его с произведениями современной мысли: он украшает свои статьи лоскутами той самой теории, которую упрекает в безумстве.

Точно так же он имел бы совершенно другое понятие о смысле демократического движения в Англии, если бы изучал его по достоверным источникам, например по парламентским прениям, по речам и сочинениям представителей этого движения, а не по книжкам, писанным отсталыми людьми вроде Леона Фоше или реакционерами вроде Монталамбера.

Третья статья «Старая французская монархия и революция» написана по поводу книги Токвиля<sup>7</sup> Начинается она объяснением, что дурно поступают те историки, которые пишут под влиянием современных политических событий, что историк не должен вносить страстей настоя-



щего в изображение прошедшего. Словом сказать, г. Чичерин очень подробно и хорошо парафразирует известную характеристику летописца в «Борисе Годунове»:

Так точно дьяк, в приказах поседелый,  
Спокойно зрит на правых и виновных,  
Добру и злу внимая равнодушно,  
Не ведая ни жалости, ни гнева.

Пушкин был, вероятно, прав, изображая такими наших летописцев, людей чуждых всякого понятия о жизни, сущих книжников и притом чрезвычайно мало образованных; но г. Чичерин напрасно хочет, чтобы нынешние историки подражали им. Он, по-видимому, не знает истинного смысла тех возгласов об историческом беспристрастии, которыми наполнены все реакционные книги. Реакционеры называют историка беспристрастным тогда, когда он доказывает, что старинный порядок вещей был хорош. Напротив, например книгу г. Чичерина «Областные учреждения»<sup>8</sup> все реакционеры называют пристрастной и несправедливою за то, что автор совершенно справедливо изобразил в ней старинную систему управления не в розовом свете. Живой человек не может не иметь сильных убеждений. От этих убеждений не отделается он, что бы ни стал делать: писать историю или статистику, фельетон или повесть; все написанное им будет написано для оправдания и развития какой-нибудь мысли, кажушейся ему справедливою. Если вы разделяете эту мысль, вам будет казаться, что писатель изображает жизнь беспристрастно; если вы враждуете против его образа мнений, вам будет казаться, что он изображает жизнь пристрастно и несправедливо. Следовательно, дело не в том, проводит ли историк свои убеждения в своей книге. Не проводить убеждений могут только те, которые не имеют их; а не иметь убеждений могут только или люди необразованные, или люди неразвитые, или люди тупые, или люди бессовестные; дело только в том, хороши ли убеждения, проводимые историком, то есть возникают ли они из желания добра, справедливости и благосостояния людям, или из каких-нибудь принципов, противных благосостоянию общества, и ясно ли понимает историк, какие учреждения и события содействовали и какие мешали осуществлению такого порядка дел, который пользуется его сочувствием. Если убеждения историка честны и если он понимает влияние изображаемых им событий и учреждений на судьбу народа, тогда заслуживает он уважения; и кроме честности



убеждений, другого беспристрастия никогда не бывало ни в каком историке, если он был одарен человеческим смыслом, а не писал как бессмысленная машина. Откуда же взялось у г. Чичерина мнение, что историк должен походить на пушкинского летописца? Опять-таки оно возникло от необдуманного принятия чужих слов на веру. Если бы он сам подумал о том, были ли равнодушны Фукидид, Тацит, Маккиавелли, де-Ту, Тьерри, Шлоссер, Гиббон или даже хотя такие историки, как Гизо, Тьер, Маколей, к тем событиям и людям, о которых писали, он увидел бы, что ни один сколько-нибудь сносный историк не писал иначе как для того, чтобы проводить в своей истории свои политические и общественные убеждения.

Но, приняв на веру чужие слова, лишенные положительного смысла, г. Чичерин вздумал, будто бы Токвиль пишет дурно только потому, что проводит в своей книге политические убеждения известной партии, а не потому, что его убеждения во многом реакционны, во многом вздорны. Мы сочувствуем Токвилю гораздо меньше, нежели г. Чичерину, но должны сказать, что и в его нападениях на Токвиля так же мало ясного понятия о вещах, как в книге самого Токвиля, и притом главные нападения обращены именно на ту сторону, которая одна только и хороша у Токвиля. Среди множества разного вздора в книге Токвиля проводится одна верная мысль, что абсолютизм наделал Франции несравненно больше вреда, нежели пользы. Но абсолютизм учредил бюрократию, а по мнению г. Чичерина, бюрократия — вещь очень хорошая, и вот он считает своею обязанностью вступить за французский абсолютизм против Токвиля. Он надеется защитить дело французских королей, взяв образцовым временем их принципа период раньше того, к которому относится характеристика Токвиля. В XVIII веке, говорит он, абсолютный принцип уже испортился; чтобы оценить его, надобно посмотреть, каков он был прежде. Но сколько мы ни смотрим, никак не можем заметить, чтобы когда-нибудь защищаемый г. Чичериным принцип не был точно таков же, как в XVIII веке. Нравственные и политические принципы Екатерины Медичи очень хорошо известны; человек без сильного воображения никак не предположит, чтобы она могла сделать сама или допустить других делать что-нибудь действительно полезное для государства. С того времени до XVIII века господствовала та же самая политика, Ришелье и Мазарини наверное не много принесли пользы нации, хотя, быть может, что они умели хорошо



вести дипломатические интриги и выбирать хороших генералов. Но, быть может, и в конце XVI и в XVII веке принцип, защищаемый г. Чичериным, был уже «испорчен». Если так, очень жаль, потому что и Карл VIII и Людовик XII ничем не отличались в своих тенденциях от Генриха II или Людовика XIV. Но г. Чичерин смотрит на дело, вероятно, с иной точки зрения. Главным благодеянием для французской нации он считает то, что она получила политическое единство. О, если завоевывать области и по возможности увеличивать свои владения значит быть благодетелем, то почему же не предполагать, что Аттила и Батый были представителями благодетельнейшего принципа: они хотели доставить всему европейскому человечеству то благо, которым обязаны были французы Филиппу Прекрасному, Людовику XI и другим собирателям земли французской. Результат завоевательной политики, правда, оказался недурен в том отношении, что французская нация соединилась в одно государство. Но людей, занимавшихся этим делом, не стоит называть благодетелями нации, потому что они имели в виду вовсе не пользу нации, а только удовлетворение собственному эгоизму, и одинаково вели всевозможные войны, не разбирая того, полезны ли эти войны для национального единства или нет. Походы на Бургундию, на Бретань происходили из того же самого принципа, как и походы Карла VIII в Италию или Людовика XIV в Германию; разница была не в мысли, а только в том, что одни походы кончались удачно, другие — нет. Немецкий Эльзас был покорен на том же самом основании, как и французская Нормандия. Если завоевание Страсбурга не было внушено высокою идеею народного блага, то не было внушено ею и завоевание Дижона.

Но все-таки надобно же благодарить кого-нибудь за то, что Франция собралась в одно целое из раздробленных герцогств, графств и виконтств. Чтобы узнать, кого должно благодарить за это, надобно только сделать себе вопрос, почему Шампань осталась во владении французских королей, а Италия, несколько раз завоеванная французами, все-таки постоянно отрывалась от французского государства. Ответ ясен: Шампань была населена французами, которые стремились составить одно целое с остальными французами, а в Италии жили итальянцы, которым не было охоты присоединяться к французам. Теперь, кажется, не трудно сообразить, какой силе обязаны французы тем обстоятельством, что соединились в одно государство.



Надобно предполагать, что они были обязаны этим своему собственному стремлению соединиться в одно государство. Потому надобно думать, что если французы должны кого благодарить за могущество, приобретенное Францией, то должны благодарить за это только самих себя и больше никого. Тот или другой эгоист, тот или другой честолюбец мог находить выгодным для себя стремление к национальному единству, врожденное французам, но не он создал его, он только пользовался им и пользовался почти всегда вредным для самих французов образом. За что же французам благодарить его, называть представителем каких-то высоких идей, когда все, что было в результате хорошего, произошло благодаря только их собственному национальному чувству? Если мы станем благодарить французских Валуа за то, что при них произошло воссоединение французских провинций, всегда стремившихся к единству, то не должны ли мы благодарить Елизавету английскую за то, что при ней Шекспир написал «Гамлета»? Нам кажется, что за «Гамлета» следует благодарить Шекспира, за французское единство французы должны благодарить самих себя.

Таким образом надобно смотреть на степень заслуги абсолютного принципа в деле соединения французской земли. Этот принцип только эгоистически пользовался силою, существовавшею независимо от него; и если оценивать достоинство этого принципа, надобно смотреть не на то, что приобретал он, потому что приобретение делалось не его заслугами, а национальным чувством, — нет, надобно смотреть только на то, что он делал с приобретенными провинциями. Тут ответ опять короток: искони веков с самого Гуго Капета до Людовика XIV главною заботою представителей абсолютного принципа было получение возможно большего количества доходов какими бы то ни было средствами, начиная с постоянного разорения всей нации законными и незаконными поборами до нарушения контрактов, продажи должностей и делания фальшивой монеты. Начиная с X и кончая XVII или XVIII веком, принцип, защищаемый г. Чичериным, брал с французской нации все, что только мог взять, и почти постоянно только этим да ведением войн ограничивалась вся государственная деятельность этого принципа. Само собою разумеется, что без исключений ничего на свете не бывает. В течение 800 лет Франция имела двух государей, действительно думавших о благе народа: Людовика Святого и Генриха IV и несколько гениальных министров. Но даже



Генрих IV был занят своей Габриэлью и военными планами гораздо больше, нежели народными нуждами, а Людовик IX не имел успеха ни в одном из своих предприятий, конечно потому, что его характер и его нравственные правила совершенно не соответствовали качествам, каких требует положение, доставшееся ему на долю. Что же касается до великих французских министров, то мы знаем, что Сюлли был отослан в деревню за неуживчивость характера, а Кольбер должен был все свои усилия напрягать к тому, чтобы доставлять Людовику XIV как можно более денег на ведение войны. Итак, остаются только Ришелье и Мазарини. Они действительно управляли государством как хотели; но при известных качествах этих людей кто отважится сказать, чтобы когда-нибудь приходила тому или другому из них в голову мысль о пользе нации?

Мы не надеемся, чтобы г. Чичерин удостоил прочтением нашу статью; мы даже не думаем, чтобы это было нужно, потому как непогрешительный мудрец, он, конечно, не мог бы извлечь никакой пользы из наших замечаний; но если бы он прочел эту статью, он сказал бы, что мы смотрим на историю французского абсолютизма и предшествовавшего ему феодального королевства очень пристрастным образом, забываем все хорошее и выставляем на вид только дурное. Мы точно так же говорим о его взгляде, что он преувеличивает все хорошее, приписывает своему любимому принципу многое такое, чем Франция вовсе не ему обязана. Г. Чичерин скажет, что мы пристрастны, а он беспристрастен; мы, наоборот, говорим, что мы беспристрастны, а он пристрастен. Как разобрать, кто из нас прав, кто нет? Каждый читатель решит это сообразно своему образу мыслей. Кому наш образ мыслей кажется справедливым, тот скажет, что и взгляд наш на французскую историю беспристрастен. Кто, напротив, разделяет убеждения г. Чичерина, тот назовет наши понятия о французской истории чрезвычайно пристрастными. Но мы и не претендуем казаться беспристрастными в глазах каждого. Г. Чичерин претендует, но может быть уверен, что из 10 человек едва ли хотя один признает за ним то беспристрастие, о котором он так хлопочет. Какую же выгоду перед нами, прямо говорящими, что любим одних, не любим других исторических деятелей, доставила ему его забота казаться равнодушным ко всем и ко всему? Этой фальшивой претензией может каждый из нас обольщать сам себя, но другие все-таки не будут обмануты его самообольщением. И, например, о г. Чичерине каждый говорит, что



любовь к бюрократии и централизации заставляет его странным образом преувеличивать все хорошее и уменьшать все дурное в истории французского абсолютизма.

Четвертая, и последняя, статья в книге г. Чичерина «О французских крестьянах» была гораздо менее замечена публикою, нежели три первые статьи. Это дает нам возможность не говорить о ней подробно. Заметим только одно место, интересное для определения нынешнего направления симпатий г. Чичерина. Из трех книг, представленных в заглавии этой статьи, г. Чичерин обращает внимание особенно на две: Дареста и Бонмера<sup>9</sup>. Он характеризует ту и другую. Дарест сам объясняет свое направление следующими довольно странными словами: «Там, где поверхностные историки видели между рабочими классами и высшими сословиями противоборство, существовала, напротив, тесная связь, скажу более — полное почти общение чувств и интересов». Из этого видно, что книга Дареста написана с целью доказать, что мятежи французских крестьян против дворян и страшная ненависть поселян к феодальным господам была явлением мимолетным, неосновательным, и собственно говоря, жалобы крестьян были неосновательны. Сам г. Чичерин прибавляет: «Автор представляет многие средневековые учреждения с слишком выгодной стороны. Он нередко старается объяснить общественной пользой такие права, которые были явным последствием права сильного». Бонмер, напротив того, живо раскрывает всю тяжесть положения поселян и постоянно сочувствует им, не оказывая потворства средневековым гнусностям. Г. Чичерин сочувствует даже французскому абсолютизму, который кажется ему союзником демократии, и не любит самоуправления за то, что в Англии имеет оно аристократический характер. После этого можно было бы ожидать, что к Бонмеру у него будет больше сочувствия, нежели к Даресту, защитнику феодализма. Но нет: Дареста он не лишает своей милости, но Бонмера казнит он нещадно.

«Г. Дарест и г. Бонмер могут служить представителями двух противоположных направлений науки: один слишком старается оправдать все прошедшее, другой слишком старается его унизить. Нельзя не сказать, однако, что первый показал несравненно более исторического и критического такта, нежели последний. И не мудрено: несмотря на некоторую односторонность, он стоит на истинной дороге и смотрит на историю не с точки зрения современной страсти, а как ученый наблюдатель, который изучает лежащие перед ним явления. Книга его может служить лучшим руководством для изучения истории французских крестьян» (стр. 281).



«...Сочинение Бонмера написано с крайне односторонней точки зрения. Г. Бонмер, по-видимому, принадлежит к тому разряду французских демократов-социалистов, которые, подводя все эпохи под исключительную мерку настоящих своих требований, видят в истории не постепенное развитие народа, а постоянную несправедливость, от которой следует отделяться. Это направление вполне отрицательно. Автору нельзя отказать в начитанности, но приобретенный материал употреблен им без всякой критики и с явным пристрастием. Книгу его можно назвать не столько историею крестьян, сколько повествованием об испытанных ими притеснениях. К несчастью, даже и эта одна сторона далеко не удовлетворяет читателя. Весь рассказ преисполнен декламациею, риторическими выходками и преувеличением, которые невольно заставляют заподозреть самую фактическую верность изображений» (стр. 280).

Из этого мы можем видеть, что, несмотря на все свои рассуждения о прогрессе, несмотря на всю нелюбовь к английским аристократическим учреждениям, г. Чичерин не колеблется отдавать преимущество приверженцам старины над людьми, которые кажутся ему слишком живо сознающими вредную сторону старинных учреждений. Дарест оставляет без внимания жизненную сторону учреждений и вносит в средневековые учреждения понятие нового времени с целью показать законность беззакония, пользу насилия; из этого, по-видимому, надобно было бы г. Чичерину заключить, что он лишен всякой способности быть историком; но нет, «он стоит на истинной дороге, и книга его может служить лучшим руководством, показывая в нем исторический и критический такт». Из этого заключения г. Чичерин сам на себе может видеть, что такое скрывается под фразою об историческом беспристрастии, которою он обольстился: под нею просто скрывается требование, чтобы историк старался оправдывать беззаконие и выставлять хорошие качества феодальных и тому подобных учреждений.

Мы кончили разбор, и нам остается объяснить странные качества, найденные нами в книге г. Чичерина (< остается показать, какой вывод о положении русской литературы можно сделать из качеств, найденных нами в одном из ее лучших представителей? >).

Демократия, готовая скорее согласиться на оправдание феодализма, нежели на его порицание, либерализм, состоящий в пристрастии к бюрократии, публицистика, равнодушная к вопросам, ею излагаемым, ученость, не знающая характера событий и людей, известных каждому, — каким образом объяснить эти сочетания каждого качества с признаками, решительно неуместными в нем, эту холодность жара, обскурантизм просвещения, реактивность прогресса, бессмыслие мысли? Мы приведем



сначала общие причины, не относящиеся к лицу, (а принадлежащие почти всей хорошей части нашей литературы). Мы видели, почему французская демократия является с формами бюрократии: она еще слишком слаба, чтобы отвергнуть ввевшуюся в нее старину, противную ее собственной натуре. Она похожа на одного из недавно уволенных наших кантонистов, которые еще все по старой привычке делают под козырек проходящему офицеру, хотя человек, уволенный от военной службы, не должен уже делать под козырек. Все мы воспитаны обществом, в котором владычествует обскурантизм, застой (произвол); потому, какими понятиями ни пропитываемся мы потом из книг, все-таки большая часть из нас сохраняют привычное расположение к обскурантизму, застою (и произволу). Мы похожи на ту ворону, обращенную в соловья, которая часто по рассеянности каркала по-вороньему. Если бы мы все были таковы, нельзя было бы ожидать обществу ничего хорошего при нашем поколении.

Но есть и в Западной Европе люди, у которых под либерализмом скрывается обскурантизм; их образ мыслей нелеп и дурен, но он имеет некоторую связность, в нем нет режущих глаза логических несообразностей. Монталамбер, например, не станет хвалить Робеспьера, не будет восхищаться Кромвелем. Зачем же у наших просвещенных обскурантов такая путаница в понятиях? Почему русский человек способен на одной и той же странице восхищаться Жанной д'Арк и хвалить руанский трибунал, который сжег ее за сношения с бесами? Это происходит от двух причин. Наши либеральные обскуранты набираются, например, своих понятий из отсталых французских книжек; в этих книжках все так хорошо, гладко, связно; но они набиты узкими национальными предубеждениями, нелепость которых слишком заметна каждому иностранцу. Русский ученик по необходимости отбрасывает этот вздор вроде того, что Наполеон в 1812 году не был побежден, что бюллетени его не содержали бесстыдной лжи, что французы — единственная великая нация в свете и в этом качестве никогда не грабили Германию и Италию, а должны для счастья самих немцев владеть всем левым берегом Рейна, и т. д. От этих выпусков оказываются в системе большие пробелы, и русский ученик наполняет их, как умеет, лоскутами фактов и понятий, набранными откуда бог даст. Но мало того, что он сам наделал пробелов необходимыми выпусками: и в полном своем иностранном виде отсталая теория не касалась многих вопросов, специально



важных для русской жизни и неизбежно представляющих мысли русского ученика. Он также старается приискать для них ответы, ввести их в чужую систему. По этим двум причинам жилет из французского атласа покрывают нашивками из английского коленкора, серо-немецкого сукна и русской выбойки. Все эти заплатки не производили бы арлекинского вида, если бы цветом своим подходили к основной ткани. Но главная нелепость состоит именно в том, что цвет заплат совсем не тот, какой нужен для гармонии. Первоначальная теория была составлена, как мы сказали, людьми застоя или реакции с целью охранения и защиты старины. Нам, русским, нечего жалеть в нашей старине и нет охоты защищать ее. Потому приставки наши имеют обыкновенно совершенно не ту тенденцию, как первоначальная теория. До сих пор мы говорили вообще, теперь сошлемся в частности на деятельность самого г. Чичерина в подтверждение последнему обстоятельству. Мы видели, какого оттенка иностранные писатели, изучением которых он занят, из которых он почерпает основные понятия свои о европейской жизни, с которыми он, если и спорит, то не как с противниками своими по принципу, а как с людьми, имеющими только частные недостатки. Эти люди — Токвиль, Леон Фоше, Лавернь, Гизо, Маколей и т. п. господа, то есть это люди так называемого умеренного и спокойного прогресса, иначе сказать, люди, которым застой гораздо милее всякого смелого исторического движения. Он спорит с ними, но и в спорах видно, что он чрезвычайно уважает их, и вообще, как мы сказали, их книги, их теории служат ему главным резервуаром мудрости. Но есть отрасль знаний, о которой они, к несчастью, не писали и которою занимается г. Чичерин. Эта отрасль — русская история. И г. Чичерин написал превосходную книгу о русской администрации в московский период<sup>10</sup>. Прочтите эту книгу, и вы почувствуете надобность протереть глаза и снова заглянуть на обертку, чтоб удостовериться, действительно ли эта книга написана тем же г. Чичериным, который написал «Очерки Англии и Франции». Тот ли это человек, который предпочитает Дареста Бонмеру? Ведь об его «Областных учреждениях» все умеренные западноевропейцы буквально сказали бы то самое, что сказал он о книге Бонмера:

«Направление г. Чичерина вполне отрицательное. Автору нельзя отказать в начитанности, но приобретенный материал употреблен им без всякой критики и с явным пристрастием. Книгу его можно назвать не столько историею русской администрации, сколько повествованием



о притеснениях, ею оказывавшихся. К несчастью, даже и эта одна сторона далеко не удовлетворяет читателя. Весь рассказ преисполнен декламацией и преувеличением, которые невольно заставляют заподозреть самую фактическую верность изображений. Автор тщательно выбирает из источников всякую частность, которая может сгустить краски на его картине, и чем мрачнее событие, хотя бы оно случилось в каком-нибудь углу государства, тем ярче оно выставляется на вид как характеристическая черта целой эпохи».

Эти слова списаны нами с 280—281 стр. книги г. Чичерина; читатель может сравнить их с отрывком, который представили мы выше из его суждений о Даресте и Бонмере. Нужно было только переменить фамилию и выпустить два-три слова, относящиеся к характеристике слога, — и то самое, что должно служить осуждением Бонмеру, буквально применилось к самому г. Чичерину, которому, впрочем, мы вовсе не ставим в упрек всех тех качеств, какими может возбуждаться подобный отзыв о его книге со стороны умеренных прогрессистов. В самом деле, как легко г. Чичерину опровергнуть их упрек! Он может сказать и действительно говорил: вы заподозреваете фактическую верность моих изображений. Проверьте цитаты, и вы найдете, что я пользовался источниками совершенно добросовестно. Вы говорите, что я выбрал одни мрачные черты, — пересмотрите источники, я предлагаю вам найти какие-нибудь другие черты, кроме найденных мною. Вы говорите, что я преувеличиваю. Я прошу вас показать хотя одно место, в котором я сказал бы что-нибудь кроме того, о чем единогласно свидетельствуют все источники. Г. Чичерин говорил это, и оказалось, что он совершенно прав, оказалось, что не он, а самые источники, самая жизнь наших предков виновата в том, если все содержание его исследования сводится к однообразному результату; что делала администрация в XIII веке? — Грабила. Что делала она в XV веке? — Грабила. Что делала она в XVII веке? — Грабила. Что ж было делать г. Чичерину, если так говорили источники? Он был честен, добросовестен, и если у него не вышла идиллия, не он виноват.

И вот эта примесь собственной честной мысли, собственного добросовестного взгляда к целой массе понятий, на веру принятых из теории застоя, реакции, из теории, отвергающей все те живые силы, без которых невозможен прогресс, из теории людей, думающих взойти на гору без труда, сидящих в болоте, чтобы не подвергнуться одышке от усилий выйти из болота, — вот эта смесь собственной честности и собственного благородства с чужою пошлостью производит тот бессвязный хаос не клеящихся



одно с другим понятий, который отпечатлелся на каждой странице «Очерков Англии и Франции». Это сочетание противоестественно, разнородные элементы хаоса лезут прочь один от другого. Нельзя долго служить Егове и Ваалу вместе. Надобно отказаться от Еговы или сжечь Ваала. Мы смело предсказываем, что г. Чичерин скоро выйдет из той путаницы понятий, в которой находится теперь.

Но в какую сторону он выйдет из нее? Он человек честный, это мы видим, и потому следовало бы ему, когда он двинется с распутия, на котором стоит теперь, пойти по той дороге, по которой идут честные люди, если природа не обделила их умом, как не обделила г. Чичерина. Быть защитником притесняемых или защитником притеснений — выбор тут не труден для честного человека.

Но мы начали с того, что г. Чичерин считает себя непогрешительным мудрецом. Ему трудно будет сознаться, — ни перед нами, ни перед публикой, — для людей с благородной гордостью не трудно сознаваться в своих ошибках перед другими, — нет, перед самим собой ему трудно будет сознаться, что он был введен в заблуждение обманчивым благозвучием ложных слов; что именем беспристрастия прикрывалась вражда против нового для сохранения старинных бедствий, именем справедливости прикрывалось эгоистическое равнодушие к чужим страданиям. Успеет ли он одержать эту победу над самолюбием, успеет ли он стать тем, чем должен бы стать по своей честной натуре, — этого мы не знаем. А если г. Чичерин не успеет одержать победы над чуждыми его благородству понятиями, он не замедлит сделаться мертвым схоластиком и будет философскими построениями доказывать историческую необходимость <каждой статье Свода законов> сообразно теории беспристрастия. Потом историческая необходимость может обратиться у него и в разумность.